

В стихотворениях Евгении Босиной есть важное качество: они заманивают читателя в сюжет, который необъясним на привычном языке прозаического мышления. Сюжет стихотворения, как сюжет событий, у Босиной, на самом деле, отсутствует. Сюжетом становится движение художественной мысли, как движения по неизвестному ранее серпантину – никогда не угадаешь, что таится за следующим поворотом, но радость преодоления с каждым поворотом возрастает – и вот уже возникает доверие к ведущему вас по серпантину поэтическому голосу, увлекающему за собой читателя.

Д. Ч.

* * *

Когда придут большие холода,
А мы, конечно, будем не готовы,
Что нас спасёт от холода тогда,
Какое нас тогда согреет слово?

Когда метели выстудят наш дом,
Ничьим дыханьем больше не согретый,
На чей огонь во тьме мы побредём?
Кто нам с крыльца фонариком посветит?

Когда придёт Великая Зима,
Да так придёт, чтоб навсегда остаться,
Я разбираться буду с ней сама –
Не всё же ей со мною разбираться!

Накину плед, на пальцы подышу,
В который раз скажу себе: *не бойся!*
И если сил достанет, опишу
Великой Стужи признаки и свойства,

Чтоб понял всяк, настигнутый Зимой,
Какое ей, Зиме, угодно слово,
Чтоб в холода идущий вслед за мной
Не так страшился холода большого.

Но кто же тот, кто в сумерках густых
Встречает – на крыльце ли, у колодца?
Не знаю...
Рассмотреть его черты
Мне из-за слёз никак не удаётся.

* * *

«Смерть – это то, что бывает с другими».
И. Бродский.

Рассыпается лист. Меркнут лики печальных икон.
Задувает свечу кто-то быстро прошедший по дому.
Умирают другие. Уж так повелось испокон.
Никогда у других не бывает – увы! – по-другому.

Улетают они. И полёт их всегда одинок,
и невидим, и тих. Сквозняками распахнуты двери...
Высыхают моря. Превращаются камни в песок.
Насовсем – только ты. Только ты всё равно мне не веришь.

Понимаю, сомненья, особенно, если болит...
Но опять запоют от весны одуревшие птицы,
и опять зашуршат голоса приозёрных раки:
«Смерть, дружок, – это то, что с тобой никогда не случится...»

О, как правы они! Прав щебечущий глупый народ,
корни правы, стволы, правы юные листья тугие.
Ну, зачем тебе знать: одиночество, ветер, полёт,
если ты навсегда: был и есть? Умирают – другие.

* * *

Умолк трубач. В пыли знамёна.
Пора смириться, видит Б-г...
Что если приручить дракона,
убить которого не смог?

Тебе ль не знать его повадку,
его погибельную власть?
Он – тень твоя, твоя загадка,
твоя – пусть худшая! – но часть.

Всё неотвязней год от года...
Что если, славный Ланцелот,
он будет жить в углу, у входа,
и охранять к тому же вход?

Почти ручной, почти домашний,
когда б не мёртвый страшный взгляд.
А ты засмейся, если страшно,
засмейся громко, невпопад!

Смеяться – вот что нам поможет!
Драконы, битвы – сущий бред.
Забыть бы напрочь... Да на коже
когтистой лапы рваный след.

* * *

Уснуть. Не быть. Очнуться молодой –
в каком-нибудь грядущем воплощенье.
Всё то же небо вспыхнет надо мной,
и ног моих коснутся те же тени,
и тот же снег, и птицы на снегу,
и день такой же, ветреный и стылый,
и я, конечно, вспомнить не смогу,
в какой дали, когда всё это было,

зачем хранится памятью, живёт
в её угожьях, сумрачных и зыбких,
и этот лес, и этот пешеход,
в чужую жизнь попавший по ошибке,

калитка, дом и в дом ведущий след –
простых вещей таинственные знаки...
И та, что будет мною, скажет: «Бред!»
и засмеётся, чтобы не заплакать.

Вот так, смеясь, она заходит в дом...
Остановись, помедли, сделай милость!
О, мне ль не знать, что ждёт тебя потом,
поскольку все «потом» давно случились!

Февральский ветер дьявольски колюч...
Она спешит, и на часах двенадцать.
Рука тверда, в замке повёрнут ключ,
и мне вовек, вовек не докричатся.

* * *

В излучине серебряной реки,
За облаком, за дальнею межою
Живут себе и ныне чудаки –
Те самые, из города Янчжоу¹.

Я сразу их узнаю, как дойду.
Их ровно восемь: шапочки, косицы...

¹ «Восемь чудаков из Янчжоу» – творческое объединение художников, существовавшее в г. Янчжоу (Китай, эпоха Цин).

Что делают? Рисуют: след во льду,
Засохший куст, крыло летящей птицы...

Что мне сказать, явившейся к ним вдруг,
Непрощеной и тем уж виноватой?
Сказать ли, что в Цзянсу расцвёл бамбук?
Просить ли позволения быть девятой –

Мне, так любившей звуки и слова,
Их завитки, таинственные струнки,
К тому же не умевшей рисовать,

А им? О чём беседовать со мной,
Пришелицей, вовек для них чужою,
К беседам не привыкшим и давно,
Давным-давно покинувшим Янчжоу?

АКУПУНКТУРА

Много солнц отгорит,
много нежных нефритовых лун,
но забьётся внутри мотыльковое тихое пламя,
и тогда ты пойдёшь к еле слышно звенящей тин-гун –
по течению реки, вдоль садов с золотыми плодами,

мимо гаснувших дней, мимо слов облетевших и цифр,
мимо ранней зимы,
мимо горького позднего лета,
а когда ты пройдёшь неизбежность, чьё имя чэн-ци,
станет легче дышать и идти станет чуточку легче,

и отыщется тень, и вода – пересохшим губам,
и скворец запоёт в ярко-красном огне бересклета...
Дальше, дальше иди – к ясноглазой прекрасной сы-бай,
проливающей свет на все тёмные стороны света,

и увидишь всё то, что когда-то, однажды, во сне –
по ту сторону дня, по ту сторону звука и боли, –
и войдёшь в тишину,
а затем поплывёшь в тишине,
и пребудет она до последнего мига с тобою...

А потом – через горы:
не знаю... быть может, к жэнь-чжун,
или выше, туда, где за мглой, за великими льдами, –
ни извилистых рек, ни печальных нефритовых лун,
ни осенних садов с золотыми, как солнце, плодами...

* * *

«Спотыкается дорога о холмы Иерусалима...»

Леонид Рудин.

Спотыкается дорога о холмы Иерусалима,
И бредут по той дороге в Град Давидов пилигримы,
Лицедеи, чудотворцы – много разного народца:
Кто увидит вечный город, обязательно спасётся!

Эти арки, эти крыши, эти плиты, эти стены...
В этом городе предметы не отбрасывают тени.
Что ни камень – то святыня, что ни день – то воскресенье,
Каждый встреченный провидец вам укажет путь к спасенью.

В этом городе, как прежде, жарко, шумно, многолюдно.
Здесь легко поверить в чудо, здесь с ума сойти нетрудно:
Разрыдаться без причины, говорить высоким слогом,
Объявить себя мессией, как Иаков, спорить с Богом.

Я ведь тоже в этот город, будто в небо, поднимаюсь,
На горе стою Масличной, потрясённая, немая.
Мне в глаза глядит пространство, мне в затылок время дышит,
И летит моя дорога выше, выше, выше, выше...

* * *

Песок считаем. Сеем ветер.
Пересекаем море вброд.
Мы так живём, что не заметим,
Когда конец веков придёт:

Исчезнут время и пространство,
И обратятся звёзды в прах,
Но с нами – наше окаянство
И вкус пустыни на губах.

И что нам после ни назначат,
Не услышавшим Трубный Глас, –
Не вздрогнем даже. И заплачут
Судить собравшиеся нас.

* * *

Если утро знобит, если тучи плывут на закат,
всё безжалостней свет, всё целебней и надобней темень,
если строгой рукой передвинуты стрелки назад,
это значит, душа переходит на зимнее время,

это значит, что ночь подползает всё ближе.

И в шесть

обступает совсем – так неслышно и так незаметно...

Что ты знаешь, душа, о мгновенно темнеющем «здесь»?

Что ты помнишь, душа, о краях ослепительно-летних?

Что б ни помнила ты, забывай, забывай, забывай!

Что б ни ведала ты, а случится страшнее и проще:
ускользающий взгляд, громыхающий стылый трамвай,
на любимом лице чей-то белый по белому росчерк –

это знак тишины, знак грядущих сквозных декабрей...

Ты не бойся, душа, так однажды бывает со всеми:
громыхает вагон, и огни – всё быстрее и быстрее,
и знакомая тень – в переходе на зимнее время.

* * *

Она за мной следит исподтишка –
из темноты, где пыль и древоточцы.
О, эта ахиллесова строка,
так долго ждёт, но знает, что дождётся!

Больной ребёнок, слабенький и злой,
да мне ль не знать, откуда ты и кто ты!
Вдруг выскочит, и выдаст с головой,
и подтолкнёт легонько к эшафоту.

А, может быть, наскучив уголком,
в недобрый час, однажды, в день мой чёрный,

бесшумной змейкой, шёлковым шнурком
сама скользнёт и стянется на горле.

И никого – ни слова, ни строки,
меня спасавшей много раз когда-то,
и виновато хрустнут позвонки
на беззащитной шее виноватой –

когда-нибудь, однажды...

А пока,
мой терпеливый недруг, осторожный,
она следит за мной исподтишка,
молчит и ждёт, когда ей скажут: можно!

* * *

... А после, в каменном нигде,
заплакали шакалы,
и ночь явилась в наготу
шакальего оскала.

Взмывал тоскливый этот вой
и в шум дождя вплетался...
Откликнись кто-нибудь живой,
кто там ещё остался!

И чьи-то лица, как во сне,
дробились на частицы,
и чей-то голос шёл ко мне,
и всё не мог пробиться,

и плыл непрочный наш ковчег
в кромешное, ночное,
непоправимо и навек
настигнутый зимою.

Но среди морока и льда
бескрайней этой ночи
пастушья тёплая звезда
качала шар непрочный,

шептала что-то, наклонясь
небесным тёплым телом,

и так жалела глупых нас,
и так нас всех жалела...

* * *

Тот же вопрос на ежевечерней поверке,
где бы ты ни был – в Хайфе, Нью-Йорке, Мадриде:
что остаётся? Заглядывать в зеркало,
не удивляться, если себя не увидел,

просить тишины, смотреть на звезду в окошке
(может быть, сжалится, может, шепнёт словечко),
слушать, как воеет где-то вдали неотложка,
словно ракета, врывающаяся в вечность,

а также ввиду подступающей темени
(да, той самой, без зрителей и декораций)
одним лишь голосом сражаться со временем,
понимая бессмысленность ситуации...



Анна Соколова. Серый день.
Бумага, смешанная техника, 70X50.